DOI: 10.31249/rsm/2024.01.02

И.И. Глебова

ОСЕНЬ САМОДЕРЖАВИЯ

Аннотация. *Данная статья посвящена русской революции, которая толкуется не в узком смысле (как событие начала XX в., в основном охватывающее период 1905–1921/1922 годов), а в широкой временно́й и социокультурной перспективе (как процесс, стартовавший во второй половине 1850-х и переменивший все стороны социальной жизни). В центре внимания автора – тема «революция и власть». Исходя из того, что русский случай – лишь элемент большого процесса «триумфального шествия» европейской революции, автор предлагает двойную призму для анализа темы: с позиций темпорального конфликта (столкновения самодержавия и «Модернити»): с точки зрения судеб европейских монархий в XIX – начале XX в. Целая серия революций, захвативших Европу в XIX столетии, потребовала выработки новой формулы власти; монархии в их традиционном виде уже не соответствовали времени. Автор рассматривает три последних царствования как противоречивую, внутренне конфликтную, но единую историю того, как кончаются «старые режимы». Она – и рефрен европейской, и в значительной степени самостоятельна. На вызовы времени самодержавие дало взаимоотрицающие ответы. Обладая монополией и на реформу, и на реакцию, оно и стало инициатором изменений – чтобы модернизировать («улучшить») страну, остаться в ряду главных европейских держав, по-прежнему формировать европейскую повестку. Но неожиданно для себя обнаружило революцию «дома» – и вступило с ней в борьбу. В ход пошли не только политическая реакция, но и идеологические новации – против идеи конституционализма была выдвинута идея «народного самодержавия». Не желая быть отмененной, власть апеллировала к национальной самобытности; «изобретала» соответствующую традицию. Обновление через внешнюю архаизацию, демонстрацию неевропейского в своей природе – все это созвучно поискам национального стиля в культуре, размышлениям консервативных философов о том, как сдержать негативные последствия современности. Однако, сопротивляясь времени, самодержцы оставались проводниками того курса, который объективно вел к «отмене» самодержавия. В горниле индустриализации, урбанизации, культурных преобразований рождалась новая страна – управлять ею самодержавно уже было невозможно. В 1905 г. царизм вынужден был это признать (хотя внутренне так и не принял – в этом суть личной драмы Николая II). Оказалась, что вектор его движения – не к «народному самодержавию», а к «народной монархии».*

Ключевые слова: *революция; Европа; Старый порядок; Николай II; образ; темпоральность; «изобретенная» традиция; «народное самодержавие»; «народная монархия».*

Глебова Ирина Игоревна – доктор политических наук,
руководитель Центра россиеведения, Институт научной информации
по общественным наукам РАН (ИНИОН РАН). Россия, Москва.
E-mail: glebova.i.i@yandex.ru
Web of Science Researcher ID: AAT-7754-2020.

Glebova I.I. The Autumn of Autocracy

Abstract. *This article explores the Russian Revolution, not in a narrow sense (as an event of the early 20th century, mainly covering the period from 1905 to 1921/1922) but in a broad temporal and socio-cultural perspective, as a process that began in the second half of the 1850s and transformed all aspects of social life. The author focuses on the theme of «revolution and power». Assuming that the Russian case is only an element of a larger process of a «triumphant march» of the European revolution, the author offers the analysis of the subject matter through a double lens: from the perspective of a temporal conflict (the clash of autocracy and «Modernity») and the fate of European monarchies in the 19th – early 20th centuries. A whole succession of the revolutions sweeping Europe in the 19th century required a new power formula as traditional monarchies no longer corresponded to the times. The author examines the last three tsardoms as a contradictory, internally conflictual, yet comprehensive story of how «old regimes» come to an end. It is a refrain of European events, and also, to a large extent, an autonomous story. Autocracy, holding a monopoly on both reform and reaction, initiated changes – to modernize («ameliorate») the country, maintain a position among major European powers, and continue shaping the European agenda. However, unexpectedly, it found itself facing a revolution at home and entered the struggle against it. Unleashed was not only political reaction but also ideological innnovations – the notion of constitutionalism was challenged by the concept of «popular autocracy». Refusing to be abolished, the ruling power appealed to national distinctiveness, «inventing» the respective tradition. Renewal through external archaization, demonstration of its non-European traits – all this conforms to the search for a national style in culture and conservative philosophers' reflections on how to restrain the negative consequences of Modernity. Yet, resisting the times, autocrats remained proponents of a course that objectively led to the «cancellation» of autocracy. A new country emerged in the crucible of industrialization, urbanization and cultural transformations, and governing it autocratically became impossible. In 1905, the Tsarist regime was forced to acknowledge this, though internally it never fully accepted it – this is the essence of Nicholas II's personal drama. It turned out that its trajectory was not towards «popular autocracy» but towards the «popular monarchy».*

Keywords: *revolution; Europe; Ancient regime; Nicholas II; image; temporality; «invented» tradition; «popular autocracy»; «popular monarchy».*

**Glebova Irina Igorevna – Doctor of Political Sciences,
Head of the Center of Russian Studies, Institute of Scientific
Information for Social Sciences of the Russian Academy
of Sciences (INION RAN). Russia, Moscow.
E-mail: glebova.i.i@yandex.ru
Web of Science Researcher ID: AAT-7754–2020**

В начале 1900-х годов П.Н. Милюков, большой историк, а вскоре и вождь самой влиятельной либеральной партии, постоянно сравнивал современную ему Россию с французским Старым порядком [Гайда 2010, с. 38][1]. Удачная формула – в ней есть все: ею ставится под вопрос один порядок и возвещается другой (могильщик всего отжившего – прогрессистский, ориентированный на будущее). Она во всех отношениях симптоматична – это манифестация предреволюционности времени. Поэтому имеет не только (а теперь уже и не столько) конкретно исторический, но и типологический характер: это метка для режимов, растративших витальные потенциалы, социальную оправданность («режимов для себя»), органически не способных к развитию («режимов не-развития»)[2].

Правление последнего российского императора – классический пример такого рода. Общий вердикт, с которым солидаризируются профессионалы и дилетанты, правые и левые, власть и ее оппоненты (про- и антивластные): главная слабость николаевского царизма – в его темпоральной неадекватности, в упорном нежелании слышать время, в едва ли не нарочитой демонстрации своего с ним несовпадения, в неумении и нежелании быть современным. Своей позицией: против времени – власть провоцировала конфликты там, где их можно было избежать (или даже трудно было предположить), нагнетала в обществе атмосферу противостояния (раскол по линии «старое» / «новое», «традиционалистское» / «модерное»), провоцировала восстание (в широком смысле: культурное, ментальное, политическое, уличное) тех сил, что не находили себе места в консервируемом ею старом порядке.

1. Самодержавие Николая II считалось чем-то вроде карикатуры на кровавый деспотизм грозных царей; отмечалось его сходство с французской монархией эпохи гражданских войн XVI в. или кануна революции XVIII в. Иначе говоря, оно помещалось в историческую серию – монархии эпох упадка. Тем самым утверждалась неизбежность его конца.

2. Можно сказать, что использование этой призмы для оценки режима – весьма эффективная политическая технология. Тем более, что определение «старый» в политико-культурном контексте имеет в русском языке отрицательные коннотации.

Справедлива ли такая оценка? Чем больше мы вглядываемся в тот мир, отрезанный от нас революциями 1917 г. и Гражданской войной, тем более заслуженной она представляется. Особенно если смотреть на позднемонархическую власть с определенной позиции – извне, с точки зрения тех самых сил, которые имели с ней темпоральные разногласия (противоречия). А если изменить фокус – сойти с обвинительной позиции, «зайти» изнутри, подсветить «объект» иными «софитами» (анализировать николаевскую историю на фоне тех социальных и культурных процессов, что определяли развитие тогдашних Европы и России)?

Такой разговор предполагает обсуждение важнейших политико-культурных проблем, имеющих не только абстрактно научное, но и актуальное (в том числе, политическое) значение: о темпоральной чувствительности российской власти, о возможностях и пределах ее эволюции; о способности или неспособности к развитию социально-политических порядков, имеющих «длинные корни» в истории (запасы инерционной устойчивости, исторической легитимности – и склонность к «застоям», неадекватному самовосприятию), об их совместимости с эпохами коренной ломки и мутации традиций. Только в этом контексте история обретает (может обрести) актуальный социально-политический смысл – как опыт самоанализа, самопонимания, необходимый для определения перспектив.

«Старый режим» как образ

На фоне стремительно менявшейся, втягивавшейся в новую жизнь России рубежа XIX–XX вв. властный Петербург (царский, придворно-аристократический, чиновный, военногвардейский) действительно выглядел как «действо огромной пустоты» – и эстетически, и политически был не релевантен миру XX столетия: лишен его энергетики, напряжения, сумасшедшинки, тяги к новаторству, риску. По меркам тех времен, его люди пассивны, скучны, охранительны – неинтересны. Их Петербург казался старым городом – за ним чувствовался возраст (отягощенность опытом, связанность прошлым).

Заметим: «*выглядел*» – вовсе не пустое слово, но важная характеристика. Та эпоха вообще была внимательна к образам, символам; вплетала их в реальность, на них строилась; не делала различий (плохо различала) между «быть» и «казаться». Николаевский царизм во многом *внешне* не устраивал (более того, раздражал) общество. И это понятно: XX век – автомобили, аэропланы, кино, телефоны, индустрия, парламенты и премьеры, а тут – парады, дворцовый церемониал, короны, мундиры, аудиенции, молебны. У той монархии *внешность «старого режима»* – запрос же был на перемену образности (обновление,

демократизацию), на *новые виды* власти[3]. Это потом, после Второй мировой, и, в особенности, к концу столетия, европейские общества затоскуют по национальному, традиционному. Возникнет интерес к пышному монархическому церемониалу; коронации и королевские свадьбы станут собирать миллионные телеаудитории (красиво, *не* современно). А юный, нарождавшийся XX век был против старорежимных сущностей и форм.

Недаром российское общество запомнило Николая II на костюмированном балу 1903 г. в Зимнем дворце в платье Алексея Михайловича. Вот он, оживший образ московского царя (Всея Великия и Малые, и Белыя…); вот она, властная претензия – вопреки новым временам, быть самодержцем. Здесь усмотрели отречение от Петербурга, от *этой* (европейской, преобразовательной – в смысле: преобразовывать по-европейски, спешить в Современность, гнать туда страну) властной традиции[4]. Казалось, она осталась в прошлом, в «блестящем» XVIII столетии. Николаевская же монархия воспринималась обществом как реинкарнация «реакционного» московского самодержавия. Отчасти поэтому Петр, демиург петербургской империи, был возведен в идеал, прославлен как революционер на троне [см.: Глебова 2022].

На рубеже XIX и XX вв. все европейские дворы увлекались (и развлекались) историческими «играми» (живопись, архитектура, публичные церемонии и проч.), «возвращавшими» в то прошлое, где короли и были центрами мироздания[5]. Эпоху отличала тяга к переодеваниям («костюмированию»); З. Фрейд говорил о свойственном ей маниакальном стремлении к карнавалу. В моде – «балы масок»; в Британии принцы примеряли кафтаны Стюартов, в

3. Вся «презентация» (образно-символическая часть) Февральской революции – вызов этой «внешности». Февраль подчеркнуто нов, демократичен – настоящая революция (коренной перелом и новое начало). На этом фоне «старый режим» казался особенно старым (анахронизм; вся его история – обветшание и разложение, в Феврале лишь поставлена точка). Радикальная перемена «видов» России – пожалуй, одно из главных «завоеваний» Февраля. В новых формах формировались новые сущности; вспышки символической революции радикализировали политическую и социальную [см. об этом: Колоницкий 2001].

4. Москвич А. Кизеветтер так комментировал петербургские костюмированные балы (тягу власти к такой презентации): «Политике "контрреформ" теперь старались придать характер возвращения к национальным заветам до-Петровской московской старины. При этом не очень заботились об исторической точности» [Кизеветтер 1929, с. 320]. Спустя столетие другой историк, Р. Уортман, толковал эти «игры» николаевского престола как «вызов европеизированным нормам императорского двора» [Уортман 2002, с. 511].

5. Символично название одного из многочисленных исторических эссе о Людвиге II, короле Баварии: «Возвращение в блеск вчерашнего дня». При этом указывается: все его ностальгические «путешествия в прошлое» (и самый известный плод королевской фантазии – Нойшванштайн) были обеспечены современными технологиями [Ruckzug 2004].

Германии кайзер появлялся в костюме Фридриха II [см.: Kurtz 1970, с. 64–65]. Наблюдая один из таких маскарадов в Берлине, остроумец заметил: такое ощущение, будто мертвые встали с косичками и в пудре [см.: Als Kaiser 2004, с. 57]. Кайзер, по общему мнению, привносил в немецкую жизнь элементы Средневековья; да и сам как будто всплыл из прошлого.

При Вильгельме II Германия решительно превращается из аграрной в индустриальную, в химии и электропродукции не уступает Великобритании и США. У нее в высшей степени современная и динамичная экономика, мощная железнодорожная сеть, многие ученые – мировые величины. А придворный мир имеет феодально-аристократический вид. Кайзер прославляет Священную Римскую империю германской нации; его год расписан в строго ритуальной последовательности – рождения, награждения, военные парады и осенние маневры, висбаденские праздничные игры и кильские недели, поездки по северным землям, охоты. В маленьких немецких (союзных) государствах, где еще сохранялись княжеские дворы, внешне все тоже выглядело как во времена абсолютизма [там же]. Царил дух верноподданничества, милитаризма; шталмейстеры и егермейстеры играли главную роль на балах, титулы и ордена сыпались как из рога изобилия. В Вене, где творились новое европейское искусство и новая наука, в 1900-е, так же как и в 1850-е, правил Франц-Иосиф, для которого абсолютистские «сценарии власти» – не «игра», а образ жизни (он сам – такой «сценарий»). Большим монархиям подражали «малые», им – аристократия, вовлекавшая в «карнавал» светскую публику.

Иначе говоря, игры в прошлое были настоящим тогдашних европейских монархий. Россия была в этом общем движении, в современной монархической «повестке».

Европа отчасти даже подпала под обаяние «неомонархических игр» – кое-где и коротко, но вспоминала, что когда-то любила своих королей[6]. Однако «подданным» (сознательной их части) сильных (еще не свергнутых / не сброшенных на социально-политическую периферию) монархий дворцовые маскарады не казались ни забавными, ни эстетически притягательными. Политический вызов, облеченный в символические формы, попытку затянуть современность в *свое* прошлое – вот что в этом видели. Причем вызов странный, неадекватный задачам момента: им бы обновляться – а они натягивают «ветхие» платья, взывают к призракам, настаивают: мы и есть старые режимы. Общественный вердикт: они хотят (править) по-старому – это конец; престолы одряхлели, их власть выродилась – это призрачный, умирающий мир.

6. Париж в 1896 г. приветствовал русского царя во многом потому, что он – царь [см.: Берар 2016, с. 36–37]. Казалось, Франции надоело быть республикой.

Игры престола: наследник

Конечно, острая общественная реакция на властные игры в московских царей объяснялась не эстетическими, а политическими соображениями. Это – протест против того курса, которым шла власть. Его суть – не менять курса (держаться прежнего, уже проложенного, как единственно верного).

Едва вступив на престол, Николай II манифестировал преемственность как основу своей политики. «В последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекавшихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земств в делах внутреннего управления. Пусть все знают, что я, посвящая все свои силы благу народному, буду охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его мой незабвенный покойный родитель» [Николай II: Материалы 1917, с. 56–57][7], – сказал он в первом же публичном выступлении, 17 января 1895 г., перед представителями дворянства, земств и городов, собравшихся со всей России поздравить его с воцарением. В этих двух фразах – весь образ мира: самодержавия и этого самодержца.

Этот царь – только наследник (так он мыслил свою роль), его назначение – хранить. Никаких выдумок, выкрутасов, революций на троне; наследие принял – наследие сдал. Он – лишь звено в этой исторической цепи (в этой непрерывности): Самодержавие – Власть от Власти. Которое и есть Россия.

Под стать[8] – и образность николаевской монархии. Всем своим видом Дворец показывал, что это – мир власти, страшно далекий от общества, что он существует для того, чтобы царствовать (быть «Хозяином Земли Русской»[9] – повелевать пространством и людьми). Утверждал: *этого* не могут перебороть никакие новые времена.

Что может быть естественнее для самодержавия, чем эта политическая философия? Власть, в высшей степени персонифицированная, – ничто вне этой деперсонифицирующей перспективы. Монархия – не частность, а большая традиция, институт, воспроизводящийся во времени[10]. Наследник и

7. Считается, что пассаж о «бессмысленности» мечтаний земской России был бездумной оговоркой молодого царя – в тексте было «беспочвенными» [см., напр.: «Слышались голоса» 1999]. Почему-то кажется, что Николай II не ошибся – сказал то, что и хотел сказать: мечтания бессмысленны – неосуществимы, вредны, опасны. Это – пустые *мечтания.*

8. Так и хочется сказать: под суть – звучит странно, но точно передает смысл.

9. Так Николай II определил род своих занятий в опросном листе Всероссийской переписи населения 1897 г.

10. В этом, пожалуй, ее главное отличие от диктатуры – этой пародии на монархию, этой псевдомонархии XX в. Она разрушает публично правовые институты, превращает государство в систему частной власти (подчиняя его воле лица / группы лиц). В ее основе культ личности вождя, а этого по наследству не передашь.

обеспечивает воспроизводство; это главный капитал монархии, ее будущее. При одном условии: что он – «правильный» (законный, признанный, способный править). Чем меньше вопросов к наследнику, тем выше легитимность института.

Николаю II эта стратегия: наследовать – подходила как нельзя лучше. По всем монархическим меркам он – идеальный наследник (пожалуй, в XIX в. только власть деда, Александра II, обладала такой изначальной полноценностью). Все разговоры о том, что по самоощущению, психофизике он больше подходил на роль конституционного правителя (слаб, подвержен влияниям, тяготился властью), – не более, чем разговоры (взгляд со стороны). Самодержавное начало – убеждение: царь – Хозяин Земли Русской, сердце Царево в руцех Божьих, за которым – столетия истории, жизни и деяния предков, в последнем императоре очень сильно. Таким он рожден; его идентичность – царь, его назначение – царствовать.

Поэтому-то он и не желал этого груза – царства (ровно так же, как его отец и дед)[11]. Но – долг: перед семьей, фамилией, династией (исторический долг). Все это воплощал в себе отец, Александр III; он был для Николая и родителем, и повелителем, близким человеком и самой историей. Свой долг он исполнял, как подобало – так, во всяком случае, считали Романовы; в этом был уверен Николай Александрович – и странно было бы ждать от него другого. Этот царь ушел неожиданно рано (реализовался лишь отчасти) – сын должен был продолжить его дело.

Да и потом, николаевская установка на преемственность – это, вроде бы, неплохо: царствование обещало не быть бурным, насильническим, переворачивающим все устои жизни. Здесь «ориентация» на Алексея Михайловича, правившего тихо (Тишайший – по русским и своего времени, конечно, меркам), мирно, богобоязненно, почитавшего старину, но и не отказывавшегося от новшеств, не так опасна для общества, как возведение в идеал его сына, которого следовало бы величать Петром Грозным, если бы этот «титул» в русской истории уже не был использован. На этих путях последовательного органического развития – можно добиться большего, чем в конвульсиях любой революции (самодержавной, пугачевской, декабристской).

11. Вообще, в XIX в. Романовы скорее страшились, чем жаждали престола: не столько опасности пасть жертвой «геморроидальной колики» или «апоплексического удара», как скинутые дворцовыми переворотами предки (Петр III, Павел I), сколько ответственности, пожизненной связанности этой непосильной для человека задачей – вести, направлять страну, быть «Хозяином Земли Русской». В XVIII в. все было иначе: за троном бегали, за него сражались, его захватывали. Видимо, это некая закономерность: «самозванцы» («случайности» на троне / власть-самозванец) жаждут властвовать; самодержцы, обладающие всеми правами на престол, рассматривают власть как обременение (бремя).

Иначе говоря, выбор в пользу стратегического курса – «наследник» имел свои преимущества, свою органику. Однако особенности российской политической традиции таковы, что они «съедали» эти преимущества, превращали их в недостатки.

Об опасностях «наследничества»

В рамках монархической традиции перемена на троне – единственный способ ротации верховной власти, *аналог выборов* в демократической парламентской системе. В этой точке всегда концентрировались большие общественные ожидания – на обновление: новый монарх – новый курс, разрядка от прежнего правления[12]. В России же на каждое новое царствование смотрели как на «начало» – другое время. Завершение долгих правлений (даже «блестящих»: елизаветинского и особенно екатерининского), как и уход непопулярных персонажей (к примеру, Петра III), вызывали всплеск общественного оптимизма. Здесь типовой сценарий «перехода» власти – не траур, а праздник: мертвые – к мертвым (ушедших мало оплакивали, почти сразу забывали), новый царь – надежда на «возрождение» России[13]. Чем полнее реализовывался этот сценарий, тем сильнее было ощущение новизны, тем мощнее символический фундамент очередного правления.

12. Это «настроение» вообще характерно для монархий: усталость от старого монарха (от лица, политического направления, стилистики) компенсируется новизной нового. Яркий тому пример – смерть в 1901 г. (символично!) королевы Виктории (65 лет на троне – бесконечное правление). Приход Эдуарда VII сопровождался преодолением «викторианства», освобождением от этого наследия, своего рода «омоложением монархии» (это и обеспечило ее трансфер из XIX в. в XX-й). Хотя, надо сказать, этот монарх как-то быстро «устарел»; стал не динамичен, «не нов» – наследник (да и с возрастом все больше походил на мать). А вот Вильгельм II, заняв престол в 1888 г., самоутверждался не против отца, Фридриха III, – он стремился вывести монархию (себя) из тени Бисмарка. Отчасти это удалось. Но к концу Мировой войны Вильгельм сам перестал соответствовать ситуации – «устарел».

13. В марте 1801 г. Петербург праздновал конец дурного павловского самовластия (шампанское, радостные лица, приветственные крики, фейерверки – «карнавал»). В Россию, наконец, пришло новое столетие – Александр I и был российским XIX веком. На эту высоту его подняли общественные надежды (те самые «беспочвенные мечтания»). Их новый всплеск вызвал приход Александра II; одно то, что он – не Николай I, влекло к нему сердца и умы. От него ждали преодоления Крымского позора, реформ – и это «типовые» ожидания: новое царствование должно было быть ответом на дефициты старого. Вся эта «типология» продолжилась и в XX в.: вожди (помимо прочего) делались из народных надежд на обновление, ожиданий другой (лучшей) жизни. Да и вообще, чем дольше сидит властитель, тем сильнее усталость, потребность в новом лице, желание менять (просто менять *– старое на новое).*

На Николая II надеялись особенно напряженно: общество устало от «реакции» – хотело «весны», альтернативной политической повестки, больших перспектив[14]. И те, кто еще помнил освободительные восторги 1860-х годов, и те, кто их не застал (эти – в особенности), хотели пережить «оттепель», почувствовать дыхание свободы. Они и обратились к Николаю II как к альтернативе (не-Александру III), «нагружали» его альтернативными ожиданиями[15]. Обманувшись (будучи обманутым), ответили не просто неприязнью, непониманием, отчуждением.

Едва начав, этот царь поднял руку на мечту новой России / нового Петербурга об их (новом) мире (публично со всем этим размежевался: сказал, этого – не будет). В ответ общество окончательно и бесповоротно записало его в прошлое (выписало из XX в.). И ни разу за все царствование не признало со-временным (со-временником). Пожалуй, это первый за долгое время случай *такого* темпорального, мировоззренческого, символического несовпадения власти и «подвластных» (их сознательной части). По непримиримости оно напоминает противостояние начала XVIII в. – с точностью до наоборот (в этом смысле последний император – действительно тот анти-Петр, каким его многие видели). Одно это служило почвой для революции (общественников – против этого самодержца)[16].

*14. В марте 1881 (*март*, опять март – магический месяц для русской политии), через 80 лет после антипавловского петербургского «карнавала», обществу не на что было надеяться. Царствование началось с казни – в этом увидели возвращение во времена Николая I: на дворе – «заморозки», реакция. В александровские 80-е в обществе накапливались эмансипационные ожидания, потребность в политической динамике (в публичной политике).*

15. «Величайшие преобразования были уже совершены. Нужно было, прежде всего, восстановить их в полной силе, сделать их истиной… Это не было бы неуважением к памяти отца, а просто сознанием того, что разные времена и царствования имеют разные задачи… Если бы молодой царь, даже не делая шага вперед, пошел по пути, указанному дедом, то благоразумные русские люди были бы довольны», – писал Б.Н. Чичерин [цит. по: Ольденбург 1998, с.147]. Стоило только сказать: все будет, как при покойном дедушке, – и общество расположилось бы к новому монарху (хотя бы отчасти, на время стало «николаевским»). Но смириться с еще одним Александром III (чтобы вся жизнь – при нем) – это уже слишком.

16. Одним из самых острых (если не яростных) откликов на январское, 1895 г., заявление Николая II была статья Л.Н. Толстого «Бессмысленные мечтания» [Толстой 1984, с. 284–285]. Великий писатель не просто назвал речь 17 января «дерзкой» и «ругательной», а самого царя сравнил с «нахальным», «слабым мальчишкой» – «барчуком». Для Толстого это – «поступок» (точнее, проступок*): хоть и необдуманное, но «столкновение» с обществом, в котором оно было оскорблено и унижено («проглотив», стало еще «покорнее и подлее»). Толстовское выступление – не анализ, не памфлет, не речь в защиту «униженных и оскорбленных». Это – вызов (перчатка, брошенная в лицо). Властитель русских дум (царь от литературы / общества) обличает*

То, что царский выбор препятствовал установлению коммуникации с обществом (шел вразрез с его настроением, состоянием, потребностями), конечно, важно, но для такого типа власти не первостепенно. Главное – он противоречил русской властной традиции, которая и тогда, и сейчас строится на отрицании: каждое следующее царствование опровергает предыдущее, каждый новый царь – не преемник, а альтернатива. Вроде бы, парадокс: социальные часы в России работают плохо (постоянно «сбоят» на «застой»), а переход от одного царствования к другому – всегда революция («маленькая», дворцовая, но с далеко идущими социально-политическими последствиями)[17]. Однако это – органика: так в кровеносную систему самодержавной «политии» поступает новая кровь, так предотвращаются социальные революции (компенсируется их отсутствие). Так рождается самодержец: чем увереннее, резче он рвет с прошлым, тем больше «самость» (царское «Я»), тем крепче власть. Стратегия «наследник» – против самодержавного естества (стирает самодержавную личность); держишься за «отца» – убиваешь в себе самодержца. Новое царство не может начаться – на троне не царь, а «и.о.» царя[18].

Иначе говоря, последний император со своей верностью «заветам» восстал против большой традиции[19]. Так что же, этот вызов всему и вся, это странное упорство – «мальчишеская» глупость, неправильный выбор, само-

молодого наследника – и заодно ставит под сомнение сам самодержавный принцип («управление по наследству», наследственную неограниченную власть) – как не соответствующий нуждам тогдашней России. Это объявление войны*: Толстой (за которым – общество; он – глашатай) – против царя. Статья не была напечатана тогда же, в 1895 (дорогу к широкому читателю ей открыла февральская, 1917 г., гласность), но в обществе была известна.*

17. В XVIII в. Дворец – во власти таких революций; новый монарх если не физически, то символически убивает старого, у него – своего рода «негативная идентичность». Негативный сценарий, конечно, можно списать на «ошибку» (эксперимент) Петра: правильный порядок наследования разрушен – самодержавие лихорадит. Но вот – в целом «не переворотный», лучший для самодержавия («золотой») XIX век. И он начался с отрицания: «все будет как при покойной бабушке» – Александр I против Павла. Так и продолжился. Николаевское царствование – реакция против всего «прекрасного» в «александровых днях». Александр Николаевич своими реформациями и эмансипациями разрушил наследие родителя. Наперекор отцовским начинаниям пошел и Александр III – мировоззренчески, политически, юридически отрекся от Освобождения.

18. В «раннем» Николае II (до 1905 г.) эта самость невидна, неочевидна. В нем больше Александра III, чем Николая II. Общественный вердикт в отношении этого монарха: он не креативен как царь (простой рефрен, живет с отцовского наследия – а потому «профнепригоден»: не соответствует этой миссии: царь). Посредственность – главный порок, по меркам того времени.

19. Заметим: николаевский опыт выбивается не только из монархического прошлого, но и из постреволюционного будущего. В XX в. каждый новый советский вождь – плохое зеркало для предыдущего (самоутверждается, отрицая).

убийственная реакция? Вполне удовлетворительный (приемлемый) ответ[20]: а что еще ждать от этого монарха? Недоразумение, *дефект* русской власти, «слабое звено» – поэтому на нем и порвалась династическая цепь.

Николай II действительно был *слабым звеном русского самодержавия*. Но вовсе не из-за личных слабостей, неадекватностей, привязанностей и зависимостей. Его царствование пришлось на тот исторический момент, когда самодержавие столкнулось с экзистенциальным вызовом: быть или не быть? Так случилось – в этом нет ни его вины, ни его заслуги.

«Наследник» – это не о личном, не о преданности отцу и его делу (хотя для понимания этой властной стратегии Александр III – ключевая фигура), не о жажде власти. В николаевской игре – более высокие ставки. Это – о самодержавии (об образе правления, государственном строе, судьбе и династии, и страны). «Бессмысленные мечтания», «так было и будет всегда»[21] – ответ власти, стремящейся править без ограничений (природа которой выражалась в этой претензии), приученной к мысли о *бесспорности* и *бессрочности* своих прав, тем временам, которые эти ограничения с собой несли (что и было ограничением).

О наследии: в исторической ловушке

В каком-то последнем смысле самодержавие всегда в схватке со временем – за право быть самодержавием. Долго оно если и не выходило из нее победителем, то, во всяком случае, не терпело поражения[22]. Но эпоха Освобождения показала, что его ресурсы в этом противостоянии не просто ограничены, но подходят к концу.

Исторической ловушкой для европейских монархий стала европейская революция. Казалось, решающий удар нанесла Великая Французская – из нее стала расти эпоха, которая шла на смену «старому режиму». То есть много-

20. В рамках сложившегося (в науке и общественной памяти – тут между ними нет противоречия) отношения к этой фигуре и той эпохе.

21. Из властного Петербурга раздавались самые разные слова. Но доныне известны (вошли в историю) именно эти. На них и основывается отношение, переданное формулой «старый режим».

22. Так, из кризисного для себя XVIII столетия российская власть выходит, не поступившись самодержавием. Преодолевает состояние «самодержец / самозванец» (наследие Петра), не сдается освобожденному им дворянству (не приобретает характер дворянской монархии). Встает над потенциальным дворяновластием; монархия и дворянство сообща формируют легитимность петербургского самодержавия [см.: Whittaker 2003, с. 12]. Эта формула довольно долго служила эффективным идеологическим оружием против всяческих «покушений» на власть (в том числе, против дворянского революционера, рожденного Просвещением). К середине XIX в. ее потенциал был выработан.

сотлетнему европейскому мироустроению. Это такая смена исторических вех, аналогов которой найти, вроде бы, невозможно[23]. Переход из XVIII столетия в XIX оказался переходом в новый мир, где монархический принцип подвергся решительной десакрализации (один только Наполеон равен историческому нокауту; после него быть «просто монархом», на традиционный лад, невозможно) и стремительно устаревал. Но XIX век разразился целой серией революций, не меньших по силе, чем эта «могильщица» старого порядка. Индустриальная и ее последствия, экономические, экологические, социальные, – совсем другая цивилизация, такой же прорыв из тысячелетней истории, как 1789 год (не уступает в величии). А она тянула за собой научную, технологическую, инфраструктурную – и все ранее невиданное, немыслимое.

Континент втягивается в большую перестройку: по существу, формируется новая Европа – геополитически, в политико-правовом, культурно-ментальном, социально-бытовом смыслах [см., напр.: Кареев 2018][24]. Принципиальным образом меняется карта (рвутся одни государства, возникают другие), падают традиционные правления, растут большие и малые национализмы. Европу трясет – она политически нестабильна, «не системна» (не в системе – Венская потеряла свое стабилизирующее значение). Наряду с геополитическими копятся социальные противоречия; экспансирующие индустриализмы и урбанизмы везде порождают болезни, ранее неизвестные, не имеющие «протокола» лечения.

Меняется социальная структура; Европа массовизируется, доминирующим типом становится средний европеец. В центры цивилизации (в города, на производство) массово двинулось простонародье; эти пришельцы угрожают традиционному «миру избранных», их «восстания» вспыхивают то тут, то там. Трансформируются политические системы; старые элиты ощущают давление новых сил – против них улица, стрелки и бомбисты; в ответ на радикализмы в рост идут полицеизмы (полиция и сыск) и реформизмы. Меняются города – в них приходят новые технологии (иные формы жизни), их тревожат новые вызовы. Притом все новое еще «в начале», в стадии становления –

23. «События 1789 г. быстро переросли во фронтальное наступление на весь тысячелетний европейский «старый режим» в целом: монархию, аристократию и церковь. В результате революция стала означать процесс созидательного насилия, знаменующий начало новой всемирно-исторической эпохи, и создание «нового человека». События во Франции впервые породили на Западе культ революции как орудия истории» [Малиа 2015, с. 14].

24. Симптоматично: меняются представления Европы о самой себе и мире (среди прочего – о России), основы самоопределения и технологии репрезентации [см.: Большакова 2016, с. 362–372].

проявляет себя не с лучшей стороны; эти эффекты большей частью негативны, агрессивны, разрушительны.

Все европейские монархии реагировали на мир, который оказался к ним не добр – и прямой реакцией, и сотрудничеством (теснились, давая место рядом с собой парламентам). Ответ российской был революционного накала – за что она и получила репутацию реакционного оплота Европы (Александр I – «глава царей», защитник легитимизма; Николай I, далеко ушедший по этой дорожке, – уже европейский жандарм). Но и она уступила. Европейские революции стучались в двери – Александр II впустил их в Россию.

Этот царь, вроде бы, действует по-петровски – перезапускает часы, творит новую Россию. Император-Часовщик, «взрыв революции в царях», новая волна европеизации[25]. Однако эта Реформа не похожа на петровскую – скорее, даже альтернативна. У нее много творцов (у самодержавия больше нет монополии на социальное творчество, оно – лишенец, его потеснило общество, заявившее о себе и словом, и делом, в том числе и лихим); ее последствия – усложнение, плюрализация (во всех отношениях). Уже в России Александра Николаевича – так много Россий (не в географическом, а в социальном и темпоральном смысле – полисубъектный мир), что у нее просто не может быть одного часовщика[26]. И если самодержцу угрожает террорист, то самодержавию – призраки парламента и премьера[27]. Наблюдая эти угрозы, сознавая их реальность, формируется наследник (взгляды, политическая линия – послеалександровское «предложение» стране).

Александр III объявляет этим угрозам (и их персонификаторам) войну. Он – не рядовой сменщик на троне, а сознательный борец за монархический принцип. Его цель – не просто убрать террористов (и террор как таковой), но вычистить из России саму тему потрясений (нейтрализовать их источник). Его числят в реакционерах, а он – социальный миротворец, идеалист-утопист: желает не просто снизить значение социального конфликта и конфликтности, но закрыть для себя это измерение современности (да и, вообще, снизить пафос в отношении «нового мира» – не создавать культ «Современности»). И если террористы придают своему делу значение религиозное (высшей и последней борьбы), то и он таким же образом толкует свое –

25. «Революция сверху» – так это время и входит в российскую историю [Эйдельман 2021, с. 332–366].

26. Социальное время перестает быть однородным. Для характеристики этого процесса можно привлечь ленинскую мысль о многоукладности – многоукладной в пореформенной России стала не только экономика, но и темпоральность. Параллельно темпорализуется пространство; Россия, одетая в сеть железных дорог, – уже не физическая, а социально-экономическая география.

27. Парламент и премьер (глава правительства европейского типа) – политические механизмы реализации социального многообразия.

это не узко монархическое, а широкое народное дело, имеющее высшую санкцию[28].

Это установка даже не на стабильность – на социальную гармонизацию[29]. Революцию – вон, стихию дикого капитализма – ввести в русло, оздоровить государственным вмешательством (огосударствлением капитализма)[30]. Ставка на развитие – против всяких хаосов, хаотизаций, революционных взрывов (реформизм противопоставляется революционализму – как социальное творчество разрушению). Вместо «низкопоклонства перед Западом» – «здоровый» русский национализм[31]. Да и монархию из европейских эмпиреев вернуть на родную почву – напомнить о ее корнях, традиционности, русскости. – Эту «программу» подправит время – но тогда, в самом начале 1880-х, она многим казалась (а отчасти и была) уместной. В чем-то главном соответствовала ситуации и в самой России (широка реформа – надо бы сузить; попривыкнуть, обжить), и в Европе.

После серии войн и революционных потрясений начала – середины XIX в. стремительно обновлявшаяся Европа (цивилизация перемен) инстинктивно хватается за прошлое – его в ней много, возможно, даже с избытком (*это* – ее зеркало). Она движется в современность с оглядкой, не вступая в решительную борьбу с живыми, вполне еще дееспособными традиционными формами и образами жизни, – да, к тому же, декорируется в исторические одежды. Везде «историзмы» имеют отчетливо национальный облик – эстетику (и идеологию) времени формируют, среди прочего, образы и образцы национальной старины. – Европа «пересоздается» (пересматривает «основы»), апеллируя к национальному / традиционному, через ассоциации и подражание. Эта метаморфоза зафиксирована в искусстве (искусством) 1870–1880-х; национальная традиция – одна из главных его тем.

28. См. Высочайший манифест 29 апреля 1881 г. [Государство российское 1996, с. 234].

29. И на государство – как инстанцию, гармонизирующую отношения в новой, пореформенной, деревне (не только экономически восстанавливающей два главных, «исторических», сословия России – помещиков и крестьян, но и способствующую их ментальному оздоровлению), и в городе (между двумя новыми «сословиями» – предпринимателями и рабочими). Однако при ставке на госконтроль именно тогда рождаются крупнейшие состояния, независимые от государства.

30. В постсоветской России многие надежды возлагались на авторитарную модернизацию, т.е. экономический (и социальный, и ментальный) подъем, на «русского Пиночета». А он уже был – это место в российской истории занято.

31. Это общеевропейская тенденция, суть которой – возведение народного инстинкта («ископаемого национализма», по выражению П.Н. Милюкова, – темных «ископаемых» реакций) в ранг государственной политики. – Предтеча национализмов, расизмов XX в. Ее оборотная сторона – линия на строительство «гражданских наций», которая в полной мере также реализуется в XX столетии.

Характерны опыты придумывания «русского стиля» – у Бородина и Римского-Корсакова, у Сурикова, Васнецова, Рябушкина и др.[32]. Художники (декораторы эпохи) нуждались в самобытном материале – а потому обратились за «образцами» к старомосковским (до-петровским / не-европейским) древностям. Те же поиски «русскости» (или, по С.С. Уварову, «народности») мы видим в 1870–1890-е годы в архитектуре (в облике городов), интерьерах, одежде и проч. Увиденная современными глазами традиционная Россия стала одним из слагаемых национальной идентичности.

Если в России сочинялся «русский стиль», то в Германии – «немецкий», в Великобритании – «английский» и т.д. Музыка Р. Вагнера, например, так же опиралась на «германские древности» (эту образность), как творчество наших художников – на русские. Эти творцы пытались выявить национальное своеобразие и противопоставить его, говоря языком К. Леонтьева, «смесительному упрощению», которое, по их мнению, становилось преобладающим в мире. Иными словами, это был ответ на общемировую нивелировку. Имелся в этих поисках и политический смысл. Тот же Вагнер и художники его круга отвечали укреплявшемуся германскому либерализму манифестацией «здоровых» консервативных начал. Однако парадоксальным образом на этих путях была создана немалая толика произведений, во многом определивших будущее развитие мирового искусства.

В ожидании решающих боев, которые вскоре даст на этом пространстве «Современность», Европа еще скользит между совершенно разными временами – индустриально-модерным и традиционным, нащупывает формулу разумного синтеза. Движение в Современность как бы нарочно притормаживается – чтобы не допустить обвала, торжества стихийных начал. «Прошлое» (и живое, которого еще так много в настоящем, и «искусственное», придуманное) используется как страховка – за этот счет сбрасывается темп, смягчается давление нового, перемены нивелируются (уравновешиваются). «Охранители» (и «хранители») пытаются придать трансформациям управляемый характер[33]. – На этом фоне старые европейские монархии выглядят еще

32. Интересно созвучие сюжетов, тем, символов в литературе, живописи, музыке (их «путешествия» в культуре). Так, тема степи, которая появляется в искусстве (к примеру, у Бородина), в XX в. из художественной метафоры превратится в аналитическую категорию (цивилизация Степи у евразийцев). Симптоматично, что культура рубежа XIX–XX столетий насыщена образами, подчеркивающими изначальную внеевропейскость Руси / России. В ней не просто заметен дикий, кочевой («половецкий», «скифский») скитальнический дух – это одна из доминант. «Русский европеец» нагадал себе судьбу – скоро ему отправляться в дорогу, в скитание. Дух материализуется – все дикое, кочевое (народное) в России оживет и восстанет.

33. Пример внутренней политики Бисмарка – пожалуй, самый известный, хрестоматийный.

вполне жизнеспособными, не утратившими перспективу, даже необходимыми. Они же, в свою очередь, идут на уступки новым временам.

Это своего рода «темпоральное сдерживание» (нагнетание «настоящего–прошлого» – в противовес «настоящему–будущему») отчасти приносило свои плоды (в том числе политические). В то же время провоцировало ответные реакции: радикализировало конфликт «старого» и «нового», стимулируя процесс самоутверждения новых сил и усиливая пессимизм относительно «дряхлеющей» Европы. Романтизация национальных традиций поощряла рост национализмов – внутренних конфликтов на национальной почве, стремлений к колониальной экспансии, националистических и расистских теорий и т.п. – Стабильность на пороховой бочке.

На рубеже 1890–1900-х плотину прорвало – единая темпоральность как бы разломилась. Бурное развитие новых производств (новой экономики), революции в области транспорта и распространения информации, прогресс науки невероятно ускорили ход времени. Европейский мир устремился вперед, в неизвестность, не заботясь больше о подстраховках – разменял надежность существования на головокружительные возможности, которые уже принесла и еще обещала «Современность» (именно так, с заглавной буквы). Все, что не попадает в ее ток, то отстало, архаично, чуждо цивилизованной Европе. Традиция (традиционное / традиционалистское) стремительно обесценивалась; от нее отталкивались, чтобы рвануть в новый век.

В модерном искусстве традиция – повод для «переосмысления» / «игры»: с ее помощью «придумывались» (проявлялись) новые формы, языки, сущности[34]. От нее отрекались (безжалостно или ностальгируя) – и ее использовали. Но не в реалистическом духе (в отличие от «эклектики» / «историзма», которые добивались сходства / «подобия», стремились «восстановить»), а подчиняя замыслу, акту творчества: «сочинению» модерна. Традиции «подбирались» / «перебирались» / переосмыслялись – из них сочинялись «сценарии власти» и театральные сценарии.

В этом смысле можно, несколько утрируя, сказать, что дворцовый костюмированный бал 1903 г. (царский / старомосковский «сезон» в Зимнем) –

34. Понятие «изобретенная традиция», которое связывают с именем Э. Хобсбаума, возникло тогда. В одной из своих работ П.Н. Милюков, указывая на множественность традиций, разграничил традиции «живые» («действительные», «имеющиеся налицо») и «выдуманные» [Милюков 1991, с. 362]. Кроме того, он подчеркивал принципиальную разницу между традицией «культурной», предполагающей сознательное принятие прошлого и выработку на его основе определенных целей, и «бессознательной», «ископаемой», «бытовой и этнографической», ограниченной «привычками», «психическими навыками, вынесенными из прошлого» [там же, с. 360, 361]. Общество, отмечал Милюков, может выбирать между вариациями одной традиции [там же, с. 362]. То есть изменяться через апелляцию к прошлому.

в родстве с дягилевским «акционизмом» (своего рода предвестник / предшественник). И в том, и в другом случаях «сценарии» пишет вполне *современный* человек *европейской* культуры – пусть он и скрывается за традиционной формой, подчеркнуто неевропейской стилистикой, нарочито архаизированным языком. С одной стороны, он просто «играет» – увлечен этой «забавой»[35]. С другой стороны, ищет себя, возможности для самоутверждения (сохранения собственных позиций) – в стремительно меняющемся, теряющем традиционный облик мире[36]. Недаром в эту игру сыграли все европейские монархии.

Контекст времени – подчеркнуто антиабсолютистский, антисамодержавный. Компромиссы закончились – этот способ властвовать в Европе рассматривается как пережиток («отменяется» – не только политически, но и культурно, ментально)[37]. Революция экспансирует – скоро она перешагнет европейские границы, станет мировым явлением[38]. А монархии в ответ дерзят – утверждают: нас не отменишь. Апелляция к прошлому – способ сказать: смейтесь, насмешники, но Германия – это кайзер; фрондируйте и стреляйте, но русская

35. «Auctoritas ludens» – по аналогии с «Homo ludens». В феврале 1903 г. «Дворец» развлекался – костюмы от-кутюр, драматургия (ведь спектакль, Зимний – сцена), актеры (главный в России «домашний театр»), декорации, постановочные танцы (особенно изящны в исполнении «русского» были великая княгиня Елизавета Федоровна и княгиня Юсупова, очаровательные в своих изысканных сарафанах и кокошниках). Большие балы в Зимнем 1903 и 1904 гг. символичны – это завершение самодержавной *дворцовой традиции; потом монархия устроится скромнее. Очень скоро «родовое гнездо» опустеет; владельцы станут лишь иногда наведываться. (Практически в то же время прежняя жизнь, старые хозяева уходят из дворянской усадьбы. А после революции падут и церкви. От «старого режима» останутся только воспоминания – да и те большей частью неадекватные.)*

36. В романовском маскараде 1903 г. все придумано – как в дягилевских постановках-перформансах. Современная фантазия на тему московского двора – так XX век видит XVII-й. Но это и символическое самоопределение. Эти образы вызывают, чтобы им соответствовать; это точка зрения на себя. И так везде. Зачем Вильгельму II Фридрих? А в нем удачно сочетаются прусский дух и дух Просвещения; Фридрих II – о том, что Германия будет великой, XX век станет временем ее торжества. И в этом смысле – возвращением к Фридриху (реализацией идеи: Пруссия – хозяйка Европы). Фридрих для Вильгельма не призрак – это программа, сценарий будущего. При этом надо иметь в виду, что Вильгельм II играл разные роли, переодевался в разные костюмы (маскарад для него – своего рода мания).

37. Во многом именно под влиянием этой «отмены» меняется отношение Европы к России [см.: Большакова 2016]; ее политическая система оценивается как «самый жестокий и незрелый» из европейских «старых режимов» [Малиа 2015, с. 16]. То есть в политическом отношении Россия до 1905 г. толкуется как своего рода анти-Европа.

38. XX век – против монархий; или вовсе выбросит их с политической карты Европы, или унизит до символических ролей (укажет им место – на галерке истории). Эта диспозиция стала меняться только во время и после Второй мировой войны.

история – самодержавна. Монархии не будут жертвами времени; они – поверх времени.

Это сильный ответ. Монархии вовсе не тонут в воспоминаниях (забываются, ностальгируя) – они их используют. Величие предков, великие истории – ценный актив, обеспечение под их будущее. Так, через «архаику» (внешнюю архаизацию / архаизацию внешности), сочиняются формулы власти, соответствующие новым историческим условиям[39]. Примечательно: по тому же пути пойдут диктатуры первой половины XX в. – Гитлер обратится к германским древностям, Муссолини – к римским, Сталин вспомнит об Александре Невском; отсюда они и потянут свою легитимность[40].

Через «московскую» образность европейская послепетровская монархия переходит в свой «русский период» – активизирует эти основы, эту идентичность[41]. «Русский сезон» в Зимнем, все эти переодевания из камзола Петра в платье Алексея Михайловича – вовсе не самоопределение на старый лад; это пересоздание себя с опорой на тот материал, что под рукой[42]. «Изобретение» традиции, «сценария власти» под новые задачи. – Манифестация власти, которая (сейчас) не хочет быть Петром. А потому что на дворе не XVIII в., когда казалось, что монархии будут всегда (вечны). В эпоху тотальной революции требуется опора на традицию (только пойди на поводу либерального реформаторства – и попадешь в общий ток времени, все эти революции затянут, потащат за собой – как Александра II, к гибели). Если хочешь по-прежнему писать сценарий для всей России, нужно быть охранителем – не взрывать (на это охотников достаточно), а минимизировать разрывы. Логика наследника – найти для нее опору в самодержавном наследии (а это – вся российская история) труда не составляло (спасибо предкам).

Допетровская, «московская» образность (из перворомановского, постсмутного XVII в.) – это видеоряд «народного самодержавия». Презентация той новой формулы власти, что была изобретена петербургской монархией

39. Это характерная для модерна технология, особенно заметная в искусстве. Об экспериментах И. Стравинского в его «русский период» говорят, что это новизна, которая приходит из почвы, из глубины – архаизм как модернизм, модернизм как архаизм.

40. Но и Русская революция (во всех своих проявлениях) пыталась вписаться в модель Французской. Воспевая свою новизну, искала себя в европейской традиции.

41. Но европейское-то никуда не ушло, оно в основах (исторически, культурно-ментально, психологически, физиономически) – уже ни вытравить, ни отменить. Неевропейскость послепетровской монархии так же «выдумана», презентационна, как стихотворные манифестации А. Блока («Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы»...).

42. Связать 1903 с 1613 г. в ущерб 1703 г. – конечно, сознательный выбор. 1703-й тогда тоже прозвучал – но скромнее (в основном в масштабах Петербурга). 1903-й, по существу, был выбран генеральной репетицией 1913-го.

в XIX в.[43]. Против парламента, премьера, революционеров и революционализмов, «домашних» и европейских[44]. Один из ответов европейских монархий европейской революции, угрожавшей их смести (сместить)[45]. А значит, и ее признание (пусть и по негативу).

Для Николая II эта формула была своего рода предметом веры (он и стал ее воплощением)[46]. Он «знал», что определяет время России (он – а не революционеры), что в его руках монополия и на реформу, и на реакцию. А действовал в тех исторических условиях, где его власть не могла реализоваться таким образом. Революция уже была внутри; и российское самодержавие – не только ее враг, но и источник[47]. Александр II–Александр III–Николай II – никого не исключить ни из контрреволюционного («самобытного»), ни из революционного (европейского) дела. Как бы эти «охранители» ни трактовали свои действия, из чего бы ни исходили, они вели к такому изменению страны, что та все

43. В эту линию ложатся и «самодержавие–православие–народность» Николая I, и «затейка» Александра II с «русской царицей», и политико-идеологические новации Александра III (опирались на те идеи, что продуцировали консервативные мыслители второй половины XIX в.). Этой линии и следовал Николай II.

44. Эта идеология – альтернатива идее конституционализма или, по выражению Николая II, «парламентриляндии адвокатов» [см.: Ганелин 2014, с. 28]. Однако глубина и искренность его «народничества» не отменяет того факта, что он был не ближе к народу, чем Блок.

45. Иначе говоря, это не антиевропейская, а антиреволюционная идеология – плод соответствующих размышлений тогдашнего европейца над судьбами европейской власти. Она – в общем ряду поиска Европой новой формулы бытия.

46. Ни с Николаем I, ни с Александром II эта идеология и, в особенности, эта образность не «монтируются»; даже для Александра III «народное самодержавие» еще абстракция, умозрительность – политика, а не жизнь. Николаем II она была внутренне усвоена (не идеология, а образ мыслей); не только определяла его понимание своей роли, но и полностью реализовалась в нем (его военные фотографии – особенно та, где он в гимнастерке, смотрит в объектив из окна вагона, – народный монарх).

47. То 20-летие, которое обычно трактуется как самодержавная реакция (1881–1904) вовсе не было провальным для страны («утраченным временем»). – Экономически она только разгонялась. А это движение: в капитализмы / урбанизмы – влекло ее прочь из «старого порядка», в XX в. (так было везде в Европе – причем именно тогда экономическая и технологическая модернизация стала одним из центральных пунктов европейской повестки, мерилом прогресса). Время самодержавия утекало (как в песочных часах) – и этому способствовали сами самодержцы, своей социально-экономической политикой. У них просто не было выбора – или включиться в общеевропейское историческое движение (модернизироваться), или сойти с дистанции (быть «больным человеком Европы»). В этом – даже не противоречивость, а обреченность александровско-николаевской политико-идеологической реакции. В конечном счете новая идеология, которая утверждала необходимость сохранения абсолютной политической власти, обслуживала процесс выхода из «старого порядка» (способствовала адаптации самодержавия к этому переходу).

меньше нуждалась в самодержавии. А вот «отменить» царя Россия еще не могла (именно потому, что соединяла в себе множество укладов, разные темпоральности). «Народная *монархия*» – *это* формула российской власти для XX в.[48]. Отчасти она реализовалась, но всерьез развернуться не успела.

Последний рубеж

Стратегия «наследник» имела в российских условиях большую перспективу – в XX столетии она развернулась в главную (одну из главных) легитимационных линий власти (приобрела не только охранительное, но и агрессивно-наступательное значение)[49]. А вот в николаевском случае (в судьбе

48. Формулы «народное самодержавие» и «народная монархия» нередко употребляются как синонимы. Между ними, однако, – принципиальная разница. Главное здесь – вторая часть формулы. Самодержавие – тотальная власть (субстанция), источник всех других властей, которые функциональны. Монархия – результат укрощения самодержавия временем; модель, идущая на смену самодержавной. Постсамодержавная монархия – власть, ограниченная парламентом (исторически – с 1906 г.), плод политической революции и политической модернизации. Это – часть, а не целое; элемент политической системы, который по мере своего дальнейшего ограничения – усиления парламента и премьера – все более приобретает символическое значение. Народность – та легитимность, на которую она опирается, помимо собственно происхождения (легитимности от монархической традиции, национальной истории). По существу, «народная монархия» – формула всех монархий, переживших в XX в. Они – от традиции: символ национальной истории, ее неразрывности – через них современные политии вводятся в историческое время. И постоянно в поисках связи с народом – короли, как и политики, гоняются за общественными симпатиями, любовью. Подчеркивают свою традиционность (в том числе, внешне – королевские церемонии, королевские дворцы, королевские привычки) – и при этом стремятся выглядеть и быть современными (соответствовать новым временам). Чтобы не быть списанными в бесполезный (пустозатратный для национальных бюджетов) «пережиток», отходы истории. – Такой могла бы быть судьба и российской монархии – она двигалась именно по этому, общеевропейскому, пути.

49. В XX в. власть обратит себе на пользу обе стратегии: и «наследник», и «ниспровергатель» работали на ее сохранение – против любых «полиархий». Каждый новый советский лидер опровергал предыдущего – и в то же время был вписан в общую линию преемственности: через «Ленина». В той «политии» у него много ролей [см.: Пивоваров 1996, с. 52]. Но главное – это символ коммунистической вечности (бессмертия системы); он связывал «наследников» (какими бы разными они ни были) в единую цепь, в общее время коммунизма. В этом смысле «Ленин» – многофункциональная технология. Она применялась и для самоутверждения власти как руководящей и направляющей силы, стоящей над обществом (ее высшая легитимность – в том, что это Власть от Власти), и для налаживания связей с ним, когда в том появлялась нужда (когда одних приказов / насилия для управления уже не хватало). Иначе говоря, «наследник» – технология активизации витальных потенциалов советского режима (его оживления). Кстати, и в XXI в. Ленин в Мавзолее неслучаен; это не напоминание о коммунизме (как думают «коммунисты»), а символ тотальной власти.

«исторического самодержавия») она обнаружила свой ограниченный характер – все меньше себя оправдывала. Если при Александре III идеологический курс на «вечноизацию» самодержавия еще был наступательным, то при Николае II он (чем дальше, тем больше) становился защитно-компенсаторным. Преемственность оборачивалась своей негативной стороной; выражалась в намерении гнать прочь новые времена; не стабилизировать, а «консервировать» российскую жизнь[50]. Если в самом общем виде характеризовать политику конца 1890-х – начала 1900-х годов, можно сказать, что власть «затягивала» XIX в. (Это понимали все вокруг нее: когда время идет нормально, его не замечаешь – а тут оно длилось и длилось.) И ее самое затягивало в прошлое (по инерции, как в воронку).

Все меньше и меньше соответствуя эпохе (экзистенции стремительно надвигавшегося XX в., потребностям темпорально чуткого российского общества), курс на наследование «без страха и упрека» обрастал реакционной нагрузкой. Но император и его правительство продолжало следовать этим курсом – чувствуя глухое недовольство общества, вновь сталкиваясь со вспышками террористической ярости (и снова под молчаливое – а где и шумное – одобрение публики, всех (или почти всех) образованных и цивилизованных российских жителей)[51]. Все это выглядело как арьергардные бои – в момент, когда армия уже терпит поражение, и исход кампании явно не в ее пользу.

50. В 1902 г. Л.Н. Толстой писал Николаю II, что тот задался «невозможной целью – не только остановить жизнь народа, но вернуть его к прежнему, пережитому состоянию» [Письмо Толстого 1917]. (В этом письме император назван Л.Н. «любезным братом». Но это – не равный равному; «старец» поднимает «мальчишку» до себя, делает аванс – и в то же время порицает и поучает. То есть играет традиционную для русского литературного гения роль: наставника царей.) В данном случае мы имеем дело с типологической ситуацией: если государство не развивается в реформаторскую сторону, оно обязательно начнет «замораживать» и «консервировать» (в прямом смысле – делать из общества социальные консервы); если не работают (нейтрализуются) демократические потенциалы политии, в ней неизбежно нарастают авторитарные и тоталитарные начала.

51. В начале 1900-х вновь вернулся этот ужас XIX в.; жертвы – губернаторы, министр народного просвещения, двое подряд министров внутренних дел, наконец великий князь, любимый дядя императора (хотя, надо сказать, нелюбимых у него не было; родственников он считал родными людьми – похоже, что до конца, несмотря ни на что)… В обществе полагали, что за дело – и, собственно говоря, были правы: все, кто устранялся террористами, были в царском охранительном деле (столпы реакции, как принято говорить), поэтому – не жаль. Под тот же немилосердный «звон» уйдет и сам царь. Но и общества вскоре тоже не станет – и о нем не пожалеют. Кстати, надо иметь в виду, что антигосударственный террор – вовсе не специфически российское явление. Последняя треть XIX – начало XX в. – время наступления терроризма повсюду (Англия, Америка, Австро-Венгрия, Германия и проч.; жертвы – короли, королевы, президенты, политики, должностные лица…).

В начале 1900-х недостаточность этого курса ощущалась уже и в бюрократических «верхах». Необходим был «поворот» – большая реформа, «восстановление доверия» в отношениях с общественностью[52]. Все упиралось в персонификатора – он был готов на широкие социальные меры[53], но поступиться самодержавным принципом в пользу представительства не желал. Цена «доверия» была для Николая слишком высока, а после появления наследника – и вовсе неприемлема. Теперь за «наследие» он отвечал перед ним; схема «Власть – от Власти» наполнилась живым смыслом. Видимо, именно этим объясняется отказ императора оставить пункт о представительстве в указе от 12 декабря 1904 г. – и тем самым превратить «оттепель» П.Д. Святополк-Мирского в политическую «весну»[54].

Но это был последний момент, когда «консервативный» курс еще можно было уравновесить реформой. Последняя возможность сыграть в игру XX в. –

52. Слова П.Д. Святополк-Мирского, сказанные им при вступлении в должность, 16 сентября 1904 г. (и это министр внутренних дел – главный охранитель страны!), – признание того, как далеко зашла рознь короны и общества [см.: «Повеяло весною…» 1905]. «Новый курс», названный его именем, – попытка снизить напряженность между царем / царизмом («старым Петербургом») и либерально-оппозиционной (наиболее активной) частью общества, поиск базы для консенсуса.

53. И они готовились; рубеж 1890–1900-х – время обновленческих проектов (по существу, государственной дискуссии на тему «как обустроить Россию»). В этом смысле то время похоже на предреформенное.

*54. Обычно это царское решение: вычеркнуть пункт о представительстве – объясняют влиянием плохих советчиков. Таковых, действительно, было немало – в императорской фамилии, в «сферах» (как тогда говаривали) царило, в общем-то, единодушие. Одним из решающих, к примеру, был голос С.Ю. Витте [см: Ганелин 2014, с. 27]. «*Умоляю *тебя, не поддавайся либеральным влияниям с вызыванием без разбора людей со стороны для совещаний», – писал племяннику 24 декабря 1904 г. великий князь Сергей Александрович [ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1341. Л. 151об. – 152]. Прослыл столпом реакции, а выражал, по существу, общее мнение родственников («великокняжеская фронда» была впереди). Повлияло и давление либеральной оппозиции: «банкетная кампания», требование общеземского съезда, его нелегальное проведение 6–8 ноября 1904 г. в Петербурге – из власти буквально выжимали уступки (пользуясь самой опасной для нее ситуацией – военных поражений). Проявить слабость в ответ на открытый вызов царь не мог. («Проявленная земцами инициатива в делах государственных преобразований, хотя они уступали их проведение самодержавию и подчеркивали это…, как и свою заботу о сохранении строя, оказывалась тем не менее несовместимой с самодержавным принципом. Он требовал, чтобы царские уступки носили характер пожалованных, а не выпрошенных» [Кризис самодержавия 1984, с. 164].) Но кажется, что решающим для Николая был все-таки «фактор Алексея»: тот должен был получить наследство предков – полностью, без изъятий. Вполне понятная позиция – для отца / монарха.*

возглавить революцию, которой он вот-вот готов был разрешиться[55]. Даровать представительство сверху, Высочайшей волей; в ответ на общественное настроение, укрепленное военными неудачами (а потому его было не сбить полумерами): долой самодержавие! – самому стать альтернативой собственного десятилетнего правления (политтехнологии «быть Александром IV»). Однако наследник Александра III сделал выбор в пользу наследника Алексея – и попал под ту бурю (спровоцировал или, по меньшей мере, не предотвратил), которая разразилась в Петербурге менее чем через месяц.

Библиография

Берар Е. Империя и город: Николай II, «Мир искусства» и городская дума в Санкт-Петербурге, 1894–1914. М.: НЛО, 2016. 344 с.

Большакова О.В. Концепт «Запад» и историографические образы России // Труды по россиеведению. М.: ИНИОН РАН, 2016. Вып. 6. С. 353–385.

Гайда Ф. П.Н. Милюков: Историк в политике // Мыслящие миры российского либерализма: Павел Милюков (1859–1943). Материалы международ. научного коллоквиума (Москва, 23–25 сентября 2009 г.). М.: Изд-во «Любавич», 2010. С. 37–44.

Ганелин Р.Ш. В России двадцатого века: Статьи разных лет. М.: Новый хронограф, 2014. 856 с.

ГА РФ [Государственный архив Российской Федерации]. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1341.

Глебова И.И. Литература и диктатура: Культура начала XX века в поисках идеальной власти (Эссе) // Полития. 2022. № 1. С. 101–122.

Государство российское: Власть и общество. С древнейших времен до наших дней: Сб. док. / Под ред. Ю.С. Кукушкина. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1996. 526 с.

Кареев Н.И. История Западной Европы в Новое время: Развитие культурных и социальных отношений. XIX век. М.: Академический проект, 2018. 797 с.

Кизеветтер А.А. На рубеже двух столетий. Прага: Орбис, 1929. 521 с.

Колоницкий Б.И. Символы власти и борьба за власть: К изучению политической культуры российской революции 1917 года. СПб.: Дм. Буланин, 2001. 350 с.

Кризис самодержавия в России, 1895–1917. Л.: Наука, 1984. 664 с.

Малиа М. Локомотивы истории: Революции и становление современного мира. М.: РОССПЭН, 2015. 405 с.

Милюков П.Н, Интеллигенция и историческая традиция // Вехи. Интеллигенция в России: Сб. ст. 1909–1910. Свердловск, 1991. С. 294–381.

Николай II: Материалы характеристики личности и царствования. М.: Тип. Т-ва Рябушинских, 1917. 256 с.

Ольденбург С.С. Царствование Императора Николая II. Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. 576 с.

55. Общество устало от «старого» Николая – следовало дать ему «нового» (в политико-идеологическом смысле), пойдя на коренные перемены в духе Царя-Освободителя. Собственно, курс Святополк-Мирского и явился такой «перезагрузкой». Его речь при вступлении в должность – это то, чего ждали от Николая в 1895 г. Однако курс на политическую реформу был свернут – что и фиксировал указ 12 декабря 1904 г. Готовилась отставка Мирского – ему искали замену (в духе «старого» Николая – продолжателя политической линии Александра III).

Пивоваров Ю.С. Политическая культура: Методологический очерк, М.: ИНИОН РАН, 1996. 89 с.

Письмо Л. Толстого к Николаю II от 16 января 1902 г. («Любезный Брат…») // Былое. 1917. № 1. С. 16–21; Голос минувшего. 1917. № 4. С. 117–123.

«Повеяло весною…»: Речи министра внутренних дел кн. П.Д. Святополк-Мирского и толки о них прессы / Сост. А. Ачкасов. М.: Изд-во Ефимова, 1905. 240 с.

Полное собрание речей императора Николая II, 1894–1906: Сост. по офиц. данным «Правительственного вестника». СПб.: Друг народа, 1906. 80 с.

«Слышались голоса людей, увлекавшихся бессмысленными мечтаниями»: Варианты речи Николая II 2 / 17 января 1895 г. // Исторический архив. 1999. № 4. С. 213–219.

Толстой Л.Н. «Бессмысленные мечтания» // Толстой Л.Н. Собр. соч. в 22 т. Т. 17. М.: Худ. лит-ра, 1984. 495 с. (впервые опубл.: «Утро России». Пг., 1917. 1 июня, № 134; 3 июня, № 135).

Уортман Р.С. Сценарии власти: Мифы и церемонии русской монархии. В 2-х т. М.: ОГИ, 2002. Т. II. 796 с.

Эйдельман Н.Я «Сказать все…»: Избранные статьи по русской истории, культуре и литературе XVIII–XX веков. М.: НЛО, 2021. 400 с.

Kurtz H. Second Reich: Kaiser Wilhelm II and his Germany. L., 1970.

Als Kaiser der Letzte // Geoepoche. Hamburg, 2004. № 12: Deutschland um 1900. S. 50–65.

Ruckzug in den Glanz von gestern // Geoepoche. Hamburg, 2004. № 12: Deutschland um 1900. S. 66–77.

Whittaker C.H. Russian monarchy: Eighteenth-century rulers and writers in political dialogue. DeKalb, 2003. 308 p.

References

Als Kaiser der Letzte // Geoepoche. Hamburg, 2004. N 12: Deutschland um 1900. S. 50–65.

Berar E. Imperija i gorod: Nikolaj II, «Mir iskusstva» i gorodskaja duma v Sankt-Peterburge, 1894–1914 [Empire and the City: Nicholas II, «The World of Art» and the City Council in St. Petersburg, 1894–1914.]. Moscow: NLO, 2016. 344 p. (In Russ.)

Bol'shakova O.V. Koncept «Zapad» i istoriograficheskie obrazy Rossii. Trudy po rossievedeniju [Concept «West» and historiographic images of Russia. Works on Russian Studies]. Moscow: INION RAN, 2016. Iss. 6. P. 353–385. (In Russ.)

Eidelman N.Ya «Skazat' vse…»: Izbrannye stat'i po russkoj istorii, kul'ture i literature XVIII–XX vekov [«To Say Everything...»: Selected articles on Russian history, culture and literature of the XVIII–XX centuries]. Moscow: NLO, 2021. 400 p. (In Russ.)

Gajda F. P.N. Miljukov: Istorik v politike. Mysljashhie miry rossijskogo liberalizma: Pavel Miljukov (1859–1943). Materialy mezhdunarod. nauchnogo kollokviuma (Moskva, 23–25 sentjabrja 2009 g.) [P.N. Milyukov: Historian in Politics. Thinking Worlds of Russian Liberalism: Pavel Milyukov (1859–1943). Proceedings of the International Scientific Colloquium (Moscow, September 23–25, 2009)]. Moscow: Izd-vo «Ljubavich», 2010. P. 37–44. (In Russ.)

Ganelin R.Sh. V Rossii dvadcatogo veka: Stat'i raznyh let [In Russia of the Twentieth Century: Articles of Different Years]. Moscow: Novyj hronograf, 2014. 856 p. (In Russ.)

GA RF [State Archive of the Russian Federation]. F. 601. Inv. 1. Case 1341.

Glebova I.I. Literatura i diktatura: Kul'tura nachala XX veka v poiskah ideal'noj vlasti (Jesse). Politija [Literature and dictatorship: Culture of the early XX century in search of ideal power (Essay). Politya.]. 2022. N 1. P. 101–122. (In Russ.)

Gosudarstvo rossijskoe: Vlast' i obshhestvo. S drevnejshih vremen do nashih dnej: Sb. dok. Pod red. Ju.S. Kukushkina [The Russian State: Power and Society. From ancient times to the present day:

Collection of documents. Edited by Yu.S. Kukushkin]. Moscow, Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta, 1996. 526 p. (In Russ.)

Kareev N.I. Istorija Zapadnoj Evropy v Novoe vremja: Razvitie kul'turnyh i social'nyh otnoshenij. XIX vek [History of Western Europe in Modern Times: Development of Cultural and Social Relations. XIX century]. Moscow: Akademicheskij proekt, 2018. 797 p. (In Russ.)

Kizevetter A.A. Na rubezhe dvuh stoletij [At the turn of two centuries]. Praga: Orbis, 1929. 521 p. (In Russ.)

Kolonickij B.I. Simvoly vlasti i bor'ba za vlast': K izucheniju politicheskoj kul'tury rossijskoj revoljucii 1917 goda [Symbols of Power and the Struggle for Power: Toward the Study of the Political Culture of the Russian Revolution of 1917]. St. Petersburg: Dm. Bulanin, 2001. 350 p. (In Russ.)

Krizis samoderzhavija v Rossii, 1895–1917 [The Crisis of Autocracy in Russia, 1895–1917]. Leningrad: Nauka, 1984. 664 p. (In Russ.)

Kurtz H. Second Reich: Kaiser Wilhelm II and his Germany. L., 1970.

Malia M. Lokomotivy istorii: Revoljucii i stanovlenie sovremennogo mira [Locomotives of History: Revolutions and the Formation of the Modern World]. Moscow: ROSSPEN, 2015. 405 p. (In Russ.)

Miljukov P.N. Intelligencija i istoricheskaja tradicija [Intellectuals and historical tradition]. Vehi. Intelligencija v Rossii: Sb. st. 1909–1910. Sverdlovsk, 1991. P. 294–381. (In Russ.)

Nikolaj II: Materialy harakteristiki lichnosti i carstvovanija [Nicholas II: Materials of characterization of personality and reign]. Moscow: Tip. T-va Rjabushinskih, 1917. 256 p. (In Russ.)

Ol'denburg S.S. Carstvovanie Imperatora Nikolaja II [The Reign of Emperor Nicholas II]. Rostov-na-Donu: Feniks, 1998. 576 p. (In Russ.)

Pis'mo L. Tolstogo k Nikolaju II ot 16 janvarja 1902 g. («Ljubeznyj Brat…») [Letter of L. Tolstoy to Nicholas II of January 16, 1902 («Dear Brother...»)]. Byloe. 1917. N 1. P. 16–21. (In Russ.)

Pivovarov Ju.S. Politicheskaja kul'tura: Metodologicheskij ocherk [Political Culture: Methodological Essay]. Moscow: INION RAN, 1996. 89 p. (In Russ.)

Polnoe sobranie rechej imperatora Nikolaja II, 1894–1906: Sost. po ofic. dannym «Pravitel'stvennogo vestnika» [The Complete Collection of the Speeches of Emperor Nicholas II, 1894–1906: Compiled according to the official data of the «Government Gazette»]. St. Petersburg: Drug naroda, 1906. 80 p. (In Russ.)

«Povejalo vesnoju…»: Rechi ministra vnutrennih del kn. P.D. Svjatopolk-Mirskogo i tolki o nih pressy. Sost. A. Achkasov [«A whiff of spring...»: Speeches of the Minister of Internal Affairs, Prince. P.D. Svyatopolk-Mirsky and the talk about them in the press. Compiled by A. Achkasov]. Moscow: Izd-vo Efimova, 1905. 240 p. (In Russ.)

Ruckzug in den Glanz von gestern. Geoepoche. Hamburg, 2004. N 12: Deutschland um 1900. S. 66–77.

«Slyshalis' golosa ljudej, uvlekavshihsja bessmyslennymi mechtanijami»: Varianty rechi Nikolaja II 2/17 janvarja 1895 g. [«One could hear the voices of people carried away by senseless dreams»: Variants of the speech of Nicholas II on January 2/17, 1895]. Istoricheskij arhiv. 1999. N 4. P. 213–219. (In Russ.)

Tolstoj L.N. «Bessmyslennye mechtanija». Tolstoj L.N. Sobr. soch. v 22 t. T. 17 [«Meaningless Dreams». Tolstoy L.N. Collected Works. in 22 vol. Vol. 17]. Moscow: Hud. lit-ra, 1984. 495 p. (vpervye opubl.: «Utro Rossii». Petrograd, 1917. June 1. N 134; June 3. N 135). (In Russ.)

Whittaker C.H. Russian monarchy: Eighteenth-century rulers and writers in political dialogue. DeKalb, 2003. 308 p.

Wortman R.S. Scenarii vlasti: Mify i ceremonii russkoj monarhii. V 2-h t [Scenarios of Power: Myths and Ceremonies of the Russian Monarchy. In 2 vol.]. Moscow: OGI, 2002. Vol. II. 796 p. (In Russ.)